

Две поэмы (1): «Исаак и Авраам»

«Исаак и Авраам» – первое произведение на библейский сюжет в творчестве Бродского, единственный детально разработанный в его поэзии сюжет из Ветхого Завета. Получивший широкое отражение в мировом искусстве рассказ о жертвоприношении Авраама (Бытие, 22) не мог не быть известен Бродскому и раньше, хотя бы по картине Рембрандта в Эрмитаже, но работа над поэмой совпала с первым в его жизни чтением Библии: «Я написал „Исаак и Авраам“ буквально через несколько дней после того, как прочитал Бытие»²⁸⁵. Тогда же Бродский читает «Страх и трепет» Кьеркегора. Именно там, размышляя о жертвоприношении Авраама, Кьеркегор приходит к выводу о внерациональности религиозного чувства, о необходимости «прыжка веры». Бродский знакомится и с мыслями

281 Новый журнал. 1971. № 102. С. 296.

282 Подлинный Бродский и миф о Бродском // Новое русское слово. 1970. 9 авг.

283 Андреев Г. Под маской эмиграции // Новое русское слово. 1970. 14 июля. См. также: Коряков М. Листки из блокнота: издательство им. Чехова // Новое русское слово. 1970. 25 июня.

284 Новое русское слово. 1970. 11 июля.

285 Kline 1973. P. 228.

Льва Шестова по этому поводу («Киркегард и экзистенциальная философия»).

Но «Исаак и Авраам» – не просто поэтическая иллюстрация к Кьеркегору и его комментатору Шестову. Поэма сводит воедино все духовные поиски молодого Бродского. По свидетельству его друга юности Г. И. Гинзбурга-Воскова, в те же времена Бродский проявлял интерес к учениям и системам со сложной символической парадигмой, от каббалы до таро. В работе над «Исааком и Авраамом» он не столько заимствовал символику последних, сколько саму идею символической парадигматики (см. наш комментарий к заключительной части поэмы, *ОВП*).

О том, как Бродский в мае 1963 года работал над «Исааком и Авраамом», писала Н. Е. Горбаневская: «Он мне подробно – можно сказать, структурно – рассказывал еще лежавшего в черновиках „Исаака и Авраама“. Например, про КУСТ – что будет значить каждая буква. Все точно как потом в поэме, но *рассказывал*. Это меня поражало: я не знала – и до сих пор плохо понимаю, – что стихи пишутся еще и так, что поэт заранее все знает и планирует. (Но можно вспомнить и пушкинские планы.)»²⁸⁶.

О том, что еще могло подсказать Бродскому план поэмы, есть свидетельство А. Я. Сергеева: «Он сказал, что, разбирая поэму Робинсона „Айзек и Арчибальд“, он преобразовал внутри себя героев в Исаака и Авраама»²⁸⁷. «Айзек и Арчибальд» (1902) Эдвина Арлингтона Робинсона – почти пастораль. Русский читатель вспомнит «Степь» Чехова, читая описание пешего путешествия двенадцатилетнего мальчика со стариком Айзеком (Исааком – обычное среди американских христиан имя) в гости к старику Арчибальду. Скрытый сюжет поэмы Э. А. Робинсона – контраст конца и начала жизни, первые размышления ребенка о смерти. Хотя, казалось бы, по содержанию между «Исааком и Авраамом» и поэмой Робинсона мало общего, надо учесть следующее замечание Бродского: «Помню, мы с Ахматовой обсуждали возможность переложения Библии стихами. Здесь, в Америке, никто из поэтов этим заниматься не стал бы. Эдвин Арлингтон Робинсон был последним, кто мог бы за такое взяться»²⁸⁸.

Иногда «Исаака и Авраама» называют одним из немногих произведений Бродского на еврейскую тему. Наиболее развернутую интерпретацию такого рода предложил израильский русскоязычный критик Зеев Бар-Селла. Он рассматривает поэму как поэтическую экзегезу Писания. В духе каббалистики поэт пытается расшифровать в рассказе об Аврааме и Исааке предначертание судьбы еврейства и одновременно творческим актом решить для себя парадокс Адорно: «Можно ли писать стихи после Холокоста?» Вывод критика: «Бродский не устанавливает с Богом новый Завет, он разрывает старый. Исследовав [в „Исааке и Аврааме“] судьбу своего народа, Бродский понял свою собственную – Бог заключал с евреями не договор, Бог вынес им приговор. И Бродский проделал со своим народом весь путь, до самой смерти. <...> После [„Исаака и Авраама“] у Бродского было два пути: перестать жить или перестать быть поэтом. Он нашел третий: перестал быть еврейским поэтом»²⁸⁹. Как мы знаем, сам Бродский как раз всегда разделял в себе поэта и еврея («я – русский поэт и еврей»). Так что здесь в рассуждениях критика явная натяжка, но мотив-предсказание диаспоры (рассеяния) и Холокоста в поэме действительно подспудно присутствует.

Если израильский критик считает, что, оттолкнувшись от Кьеркегора, Бродский обращается к метафизическому аспекту еврейской истории, то в интерпретации британского

286 Горбаневская 1996. С. 16.

287 Сергеев 1997. С. 432.

288 Волков 1998. С. 101. Е. Петрушанская предположительно связывает замысел поэмы с балладой Стравинского «Авраам и Исаак» для баритона и камерного оркестра. В 1962 г. Стравинский приезжал в СССР и в публичных выступлениях говорил о работе над этим произведением. К Стравинскому Бродский испытывал постоянный интерес (Петрушанская 2004. С. 40–41).

289 Бар-Селла 1985. С. 213.

литературоведа Валентины Полухиной Бродский предстает как писатель более христианский, чем Кьеркегор: «В своей поэме, стремясь разгадать смысл истории Авраама, Бродский изменяет перспективу восприятия. В центр повествования ставится не отец, а сын. Так же, как Авраам доверяет Богу, Исаак доверяет своему отцу. Прочитав поэму, мы начинаем приходить к выводу, что, возможно, ответ на мрачную загадку Бога всегда лежал на поверхности. В конце концов, Бог потребовал от Авраама только того же, что и от Себя самого: принести собственного сына в жертву вере»²⁹⁰.

Все же для дальнейшей личной и творческой судьбы Бродского «Исаак и Авраам» был прежде всего важен как усвоение теологии Кьеркегора, по крайней мере, ее основных постулатов: отчаяние как условие человеческого существования, онтологическая греховность/виновность человека и непосредственное предстояние человека Богу (все то, что впоследствии Бродский будет характеризовать как свой «кальвинизм»). Об исключительном значении «Исаака и Авраама» в духовном формировании Бродского говорит такая фраза из письма другу от 14 мая 1965 года, в котором поэт пренебрежительно отзывается обо всем своем творчестве: «Реален только „Исаак и Авраам“»²⁹¹. Поэма стала для автора инструментом формирования собственной экзистенциальной философии, самоидентификации не по конфессиональному, национальному или социальному признаку, а как человека-просто, обреченного на непрестанные и мучительные духовные поиски.

«Исаак и Авраам» – это также важный этап в развитии семантической поэтики Бродского. Содержательными центрами текста служат словообразы, по-настоящему понятные только в контексте всего его творчества: *пустыня/песок, холмы, куст/лес/листья, свеча/огонь*. Основным способом создания символа становится использование «независимых деталей». Таково описание доски – поистине независимой детали, поскольку никакого объяснения, что это за доска и откуда она взялась среди шатров в лагере евреев-номадов, автор не дает. Он описывает лагерь, шатры, заглядывает в один из них, словно бы прильнув к щели (в доске?), и далее следуют тридцать две строки, начиная с «Никто не знает трещин, как доска...». Это описание удивительно тем, что на пристальное наблюдение близко находящегося предмета («микросъемка») накладываются картины совсем иного масштаба. Так автор подробно рассматривает трещины, пошедшие от удара ножом в доску, настолько подробно, что отмечает, как «прах смолы пылится в темных порах». Далее он сравнивает эти миниатюрные пустоты в доске с окнами. Так возникает дом, у стен которого метет поземка. Происходит совмещение библейской сцены в палестинской долине и иных мест, в ином климате. Критики писали об этой доске, что она – (а) намекает на «доску» иконы, (б) гробовую доску, (в) что трещины от удара ножа в ней напоминают о попытке уничтожения евреев и о еврейском сопротивлении, (г) что на иврите слово «луах» («доска») означает также скрижаль завета и (д) что удар ножом в доску и есть кьеркегоровский «прыжок веры». Все эти прочтения не лишены логики и увязываются с сюжетом поэмы, а само их разнообразие говорит о том, что попытка Бродского создать образ-символ с неограниченным смыслопорождающим потенциалом удалась, хотя стих Бродского в «Исааке и Аврааме» местами еще переусложнен, и словесно автор не вполне справляется с нахлынувшим на него визионерским потоком. Полного мастерства во владении стихом он достигнет два-три года спустя.